

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 17. Коммуна и лежанка

6 апреля вытегорская газета “Известия” сообщала о собрании жителей города. Повестка дня насчитывала несколько пунктов: декрет об отделении церкви от государства, постановление Губернского Совдепа о переходе золота, серебра и изделий из них в общенародное достояние, распоряжение Священного Синода по поводу отобрания у церквей и учреждений духовного ведомства земли и других имуществ, о материальном обеспечении местного духовенства и другие текущие дела.

И в первую очередь зачитались 17 пунктов декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Переполненное здание женской гимназии пронизывали токи ярости, недоумения, возмущения.

– Нам нужны церкви! Нам необходимы батюшки! – отчаянные вопли женщин заглушали речи казенных ораторов.

Корреспондент выражал недовольство тем, что “смешиваются понятия: храм, здание с церковью – обществом верующих”. Он утверждал, что “согласно декрета никто не покушается на храмы – церковь...” Все эти разъяснения не произвели на собравшихся ни малейшего впечатления.

“После краткой речи тов. Леонтьева, пытавшегося отождествить право **церкви**, как юридического лица, с таковым же правом **союза** потребителей, собрание, усматривая умаление значения церкви, настолько наэлектризовывается, что продолжительное время стоит гам и шум, как это бывает на многочисленных митингах, где большинство не знает друг друга, встречается только впервые, где понятен подобный взрыв страстей; здесь же столь острое выявление чувств было и неуместно, и даже вредно для дела церкви, на что и было справедливо указано о. Марковым, внесшим своим выступлением некоторое успокоение...”

Никакого “успокоения” не возникло и в помине. Более того, выступления очередных ораторов вызвали новый накал страстей.

“Оглашается известное выступление патриарха Тихона. Товарищ Клементьев, член Вытегорского Совдепа, пытается прочитать приговор нескольких волостей крестьян Самарской губернии на это послание...” А текст патриаршего послания, распространившегося по всей России с начала года, просто прочитанный вслух, сам по себе был способен накалить атмосферу до такой

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7 за 2010 год.

степени, что с собранием уже не смог бы справиться ни один – пусть самый опытный и волевой – оратор.

“Тяжелое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги ее истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани...”

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной...

Зовем всех верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей”.

И тут же, после чтения “приговора крестьян Самарской губернии”, как передал корреспондент газеты молодой поэт Сергей Ручьев – “опять митинг – и митинг беспорядочный. “Долой, вон, убирайся, не надо нам читать газету...” Под общий шум, даже не приступив к оглашению приговора, тов. Клементьев покидает трибуну.

Такой же прием оказывается вначале товарищу Николаевскому, члену Вытегорского Совдепа, но тов. Николаевский заставил собрание выслушать себя и, при некотором шуме, в течение получасовой речи доказывал целесообразность (закона) об отделении церкви от государства. Отделяясь, церковь становится свободной и вольна молиться или нет за царя, за разных Питиримов и проч., может не молиться и за тех, кто волею истории стоит у власти. Свободно верующий христианин все принимает на алтарь церкви. Церкви нужен живой дух, да она и есть – сама любовь и, только будучи несвободной, она могла иметь в своей среде Питиримов, Протопоповых, Распутиных и проч.”

Особо значимо здесь упоминание митрополита Петроградского Питирима, арестованного 2 марта 1917 года вместе с царскими министрами и уволенного 6 марта того же года на покой Постановлением Св. Синода. Он был одним из немногих в священноначалии, сохранивших верность Царскому Дому, наравне с о. Иоанном Восторговым, архиепископом Харьковским и Ахтырским Антонием, епископом Тобольским и Сибирским Гермогеном, епископом Камчатским Нестором, архиепископом Литовским Тихоном – будущим Патриархом... Почти все из упомянутых были также отправлены на покой – Синод избавлялся от “реакционного духовенства”, принимая в то же время приветственные послания от епархий новому строю и “новой эры в жизни церкви”... “Из Лабинской. Вздохнув облегченно по случаю дарования Церкви свободы, собрание священно-церковнослужителей принимает новый строй...” “Духовенство города Екатеринодара выражает свою радость в наступлении новой эры в жизни Православной Церкви...” “Тульское духовенство в тесном единении с мирянами, собравшись на свой первый свободный епархиальный съезд, считает своим долгом выразить твердую уверенность, что Православная Церковь возвратится новой жизни на началах свободы и соборности...”

Пройдет год – и жестокие мучения и смерть настигнет как большинство из немногих оставшихся верными Престолу “церковных реакционеров”, так и представителей “прогрессивного духовенства”, избавлявшихся от “обскурантов” в своих рядах. В марте 1918-го священника станицы Усть-Лабинской Михаила Лисицына перед тем, как зарубить, водили меж домов с петлей на шее. В Пасху того же года священника Иоанна Пригоровского станицы Незамаевской Екатеринодарской губернии живого закопали в навозной яме, перед этим выколол ему глаза и отрезав язык и уши. А в Туле той же весной крестный ход был расстрелян из пулеметов...

О. Иоанн Восторгов будет расстрелян 5 сентября после совершения в московском храме Василия Блаженного молебнов над святыми мощами “от жидов умученного” младенца Гавриила. Он спокойно подошел к вырытой могиле и после общей молитвы вместе со всеми приговоренными призвал всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести испупительную жертву.

За месяц с небольшим до этого Совнарком издал закон об антисемитизме, предписывавший, в частности, следующее: “Принять решительные меры к пресечению антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона”.

Понятно, что молебен над святыми мощами младенца Гавриила был квалифицирован новой властью именно как погромная агитация.

Но вернемся в деревянную “сонную” Вытегру.

...— Нет среди нас гонителей церкви, как свободного общества, — вещал товарищ Николаевский. — Мы только хотим, чтобы свет евангельской истины не омрачался мракобесами...

Верил ли он сам в то, о чем говорил? Безусловно, верил. Как и многие из собравшихся верили в то, что с революцией пришел в Россию “свет евангельской истины”. Многим еще предстояло удостовериться — как к свету относится новая власть.

Собрания и митинги в провинциальном городке следовали один за другим. Следующий был посвящен “борьбе с обывательщиной”, на котором председатель президиума исполкома Вытегорского совета товарищ Мехнецов произнес зажигательнейшую речь:

— Товарищи, помогайте же вашей власти дружной работой устроить продовольственную разруху (эта жуткая оговорка попала в газетный отчет — Мехнецов хотел сказать “устранить”, но в эмоциональном запале произнес то, что произнес. — **С. К.**), помогайте вашей власти вести борьбу со спекуляцией... Помните, что вы должны быть хотя бы в душе красноармейцами Свободы. Будьте все строителями новой России и проповедниками Свободы! Пусть заря лучшей жизни встает над страной, заря светлая, мощная и радостная, при которой легче будет дышать!.. Перестанем быть обывателями, будем гражданами!

Но преобразование “обывателей” в “граждан” шло чересчур туго, свидетельством чему был отчет на соседней с выступлением т. Мехнецова газетной странице о побоище “на почве пользования лесом в даче бывшей помещицы Бельской” между гражданами Тихмангской и Ухотской волостей, “в результате которого убиты 2 и нанесены тяжкие раны 3 лицам. По распоряжению уголовной следственной комиссии виновные отданы на поруки. Дело будет направлено в Окружной Народный Суд”.

А 1 мая “Известия Олонецкого губернского исполкома” поместили чрезвычайно интересный “анонс” предстоящего мероприятия. Речь шла о вечере коммунистов-большевиков.

“Вытегорский Комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) скоро устраивает вечер, посвященный Карлу Марксу.

Широко поставленная программа, участие на вечере такого известного поэта, как т. Николай Клюев, — безусловно должно привлечь на вечер не только широкие пролетарские массы города, но всех интеллигентов.

Как заключительный аккорд, в 3-м отделении будет поставлена чудная революционная пьеса т. Николая Клюева “Красная Пасха” — эта песнь Мщения, Скорби, песнь проклятия тем, кто предаёт социалистическую революцию...

Эта пьеса, алмазная жемчужина, такая сильная, захватывающая за живое, потрясающая глубиной красочной мысли, — вылилась на бумагу. Кажется, только ради вечера, и нам, Вытегорам, выпало великое счастье первыми увидеть ее у себя, — на вечере коммунистов-большевиков.

Кроме того т. Николай Клюев скажет “малое слово от уст брата большевика “На пороге счастья и вечности” и прочтет несколько великолепных стихов из книги “Красный звон”.

Мы очень привыкли, если так можно выразиться, к “народнодомскому” искусству, что вечер коммунистов, независимо от того, как пройдут остальные №№ программы, — по одному тому, что на вечере примет участие т. Николай Клюев и будет разыграна его “Красная Пасха”, несомненно оставит на всех, кто будет присутствовать, неизгладимые впечатления”.

В этой заметке обращают на себя внимание два сообщения: упоминание о неизвестных нам клюевских текстах — пьесе “Красная Пасха” и речи под названием “На пороге счастья и вечности” — и свидетельство того, что эту речь Клюев произносит, как “малое слово от уст брата большевика”.

“Я не большевик и не левый революционер”, — еще недавно писал он Миролюбову. При всей духовной тяге и человеческой симпатии, связывавшей его с отдельными левыми эсерами — прежде всего, с Марией Спиридоновой, модельные иконки с изображением которой — наподобие Богородицы — он держал в руках еще во время бунтов 1905 года, а в начале 1917-го публиковал с посвящением ей свое старое стихотворение “Есть на свете край обширный...” — он не чувствовал себя связанным с партией идейно. Его тоска, действительно,

была тоской “об Опоньском царстве на Белых Водах” – и ближе всех он ощущал себе именно Ленина, в ком чувствовал “керженский дух”... Но “дух” – это одно, а партия с ее дисциплиной и уставом – нечто другое... Другое?

А вот здесь-то для Клюева не было разграничительной линии. Написав посвящение Ленину, он сознательно принял решение о вступлении в новый “монастырь”, дух которого, по его представлению, соответствовал духу Древней Святой Руси. Это при том, что в Олонецкой губернии наибольшей популярностью пользовались как раз левые эсеры, победившие на губернских выборах в июне 1918-го... Вытегорский уезд, правда, представлял собой некое исключение. Из 15 членов уездного исполкома 11 были большевиками и только 4 – левыми эсерами, а родной брат поэта Петр Клюев был утвержден заведующим Вытегорской почтово-телеграфной конторы распоряжением комиссара Мурманского почтово-телеграфного округа. После разгрома левых эсеров 6 июля он, уже назначенный комиссаром почт и телеграфов, на заседании исполкома объявил, что “признает платформу Советской власти и одобряет политику Совета народных комиссаров”.

Николай Клюев свой выбор сделал до 6 июля. И ведь до сих пор говорится и пишется о нем, как “игравшем” сначала в “крестьянского поэта”, потом в “большевика”... Но этот выбор в то время был не “игровым”, а смертным – в полном смысле этого слова. После него – отступления не было.

Жаль, что невозможно сейчас прочесть заявления Клюева в РКП(б), как и узнать – кто давал ему рекомендацию и в каких выражениях... Есенин, написавший в июне того же 1918-го “Иорданскую голубицу” (“Небо – как колокол, месяц – язык, мать моя родина, я – большевик. Ради вселенского братства людей радуюсь песней я смерти твоей”), где “большевик”, признающийся в своем “большевизме” с отчетливо слышимым вздохом неожиданности свершившегося, видит грядущую Россию ничего общего не имеющей с собственно большевистской программой (“Вижу вас, злачные нивы с стадом буланых коней, с дудкой пастушеской в ивах бродит апостол Андрей. И, полная боли и гнева, там, на окраине села, Мати Пречистая Дева розгой стегает осла”) – принес через некоторое время в виде “заявления в партию” поэму “Небесный барабанщик”, на которой бестрепетная рука столичного большевика вывела свою “рекомендацию”: “Нескладная чепуха. Не пойдет”. У Клюева – пошло. И есть большой соблазн предположить, что в качестве заявления он принес свою “Марсельезу”, то бишь “Красную песню” (“Богородица наша, земляца...”) и “Есть в Ленине керженский дух...” И был не просто принят местными большевиками – но принят с распростертыми объятиями.

Культурные, образованные люди в партии были наперечет. А обретение такого, как Николай Клюев, было подобно для местного исполкома обретению невиданного сокровища.

О пьесе “Красная Пасха” мы можем судить лишь по газетным отчетам – тем более интересно вчитаться в их пышущие эмоциями и трогательные в первобытной стилистической неграмотности и смысловой обнаженности строчки.

“Вечер памяти Карла Маркса

...На вечере выступил – первый раз у нас в городе – т. Н. Клюев, наш близко-родной поэт-коммунист, певец перезвонов сосен милой Олонии...

Во вступительном слове С. Ручьев рассказал биографию К. Маркса, т. П. Ваксберг познакомил присутствующих с коммунизмом, т. М. Мехнецов в горячей речи сказал о том, что царствие коммунизма придет и царствию его не будет конца, а т. Н. Клюев, встреченный громом аплодисментов, произнес “малое слово от уст брата-большевика” – “На пороге Счастья и Вечности”.

В 3-м отделении Вытегоры первыми увидели полную глубоких символов революционную пьесу т. Н. Клюева – “Красную Пасху”...

Пьеса заканчивается торжественным пением рабочих “Христос Воскресе из Мертвых!..”

С этой песнью радости народной Пасхи разошлись по домам те, кто искал, но не нашел на трудовом вечере большевиков того, о чем часто приходится слышать на всех углах и закоулках в сплетнях про большевиков-коммунистов”.

В тех же “Известиях Олонецкого губенского исполкома” поэт Александр Богданов, печатая большую статью о Клюеве “Пророк нечаянной радости”, уделил место и “Красной Пасхе”.

“Пьеса вызвала много разных противоречивых толков. Священник С. Марков с церковной кафедры назвал пьесу “Кровавой Пасхой”, небывалым кощунством.

Действительно, пьеса затрагивала больные нервы умирающего утонченного язычества.

Многими слушателями она была превратно понята.

Внешний рисунок прост, но, действительно, зрителям, привыкшим к реалистической драме, трудно было уловить гамму тонких ажурных символов...”

Но — несмотря на все “трудности восприятия”, Вытегорский комитет РКП(б) принял пьесу восторженно. Он, как передали “Известия”, принес “глубокую благодарность дорогим товарищам Н. А. Клюеву и М. Н. Мехнецову, всей “Красной Пасхе”: Мать-Земле (Н. Ф. Сидоровой), Любви-невесте (Л. И. Потаниной), Ангелу (Н. Г. Кучнеровой), Сыну-Воле (П. М. Ваксберг), Мщению (А. А. Абакумову), всем “Юным струнам”, Т. К. Николичеву и духовому оркестру, всем, принявшим участие в вечере, всем, почтившим память нашего великого учителя и друга Карла Маркса”.

Все это, вместе взятое, может произвести на современного человека чрезвычайно странное впечатление, но для тех людей ничего странного в происходящем не было.

* * *

“Великий Петр был первый большевик”, — так написал в поэме “Россия” Максимилиан Волошин, увидев в современных ему большевиках петровскую государственную “хирургию”, петровскую жажду ломать через колено оставшиеся древние устои и обычаи, петровскую ненависть к старой вере — впрочем, не только к старой, если вспомнить его “всешутейший и всепьянейший собор”, петровское стремление “научить Россию у Запада” и, конечно, то, что никакая плата человеческими жизнями за претворение в действительность задуманных проектов Петра не останавливала...

Клюевым революция воспринималась в антипетровском и в целом — в антиромановском ореоле (по-хорошему уж — в “антиголштинском”, ибо в 1730 году пресеклась династия Романовых по мужской линии, а в 1761 — и по женской, и фамилию носили выходцы из Гольштейн-Готторпской династии) — как возмездие за все содеянное на Руси за последние 250 лет...

“В Соловках, на стене соборных сеней изображены страсти: пригорок, дерновый, такой русский, с одуванчиком на услоне, с голубиным родимым небом напрямки, а по середине Крестное древо — дубовое, тяжкое: кругляш ушел в преисподние земли, а потесь — до зенита голубиного.

И повешен на древе том человек, мужик ребрастый; длани в гвоздиных трещинах, и рот замом дорожным, аглицким заперт. Полеву от древа барыня на скруте похабной ручкой распятому делает, а поправу генерал на жеребце тысячном топчется, саблю с копием на взлете держит. И конский храп на всю Россию...

Старичок из Онеги-города, помню, стоял, припадал ко древу: себя узнал в Страстях, Россию, русский народ опознал в пригвожденном с кровавыми ручейками на дланях. А барыня похабная — буржуазия, образованность наша вонючая. Конный енерал ржанюю душеньку копием прободеть норовит — это послед блудницы на звере багряном, Царское Село, царский пузырь тресковый, — что ни проглотит — все зубы не сыты. Железо это Петровское, Санкт-Петербургское...”

Все переосмысленные символы Евангелия и Апокалипсиса были очевидны читателям газеты “Звезда Вытегры”, где стихотворение в прозе “Красный конь” появилось в апреле 1919 года. Сам же Клюев вкладывал в написанное еще один смысл, ведомый лишь ему самому. Когтем скребли по душе строки Есенина: “Не изменят лик земли напевы, не стряхнут листа. Навсегда твои пригвождены ко древу красные уста”. И Николай вслушивается в пророчество “старичка с Онеги-города”, что “вздыбится Красный конь на смертное сражение с Черным жеребцом. Лягнет Конь шлюху в блудное место, енерала булатного сверзит, а крестами гвозди подножные вздымет...” Тогда и “сойдет с древа Всемирное Слово”, срок которому уходит далеко в клубы времен, ибо у “старичка” клубок слезный “в горле со времен Рюрика стоит”...

И — свершилось. К вящему восторгу поэта.

“Нищие, голодные мученики, кандальники вековечные, серая убойная скотина, невежи сиволапые, бабушки многослезные, многодумные, старички онежские, вещие, — вся хвойная пудожская мужицкая сила, — стекайтесь на великий красный пир воскресения!

Ныне сошло со креста Всемирное слово. Восколыхнулсь вселенная — Русь распятая, Русь огненная, Русь самоцветная, Русь — пропадай голова соколиная, упевная, валдайская!”

И это уже дохристианская Русь мешается с христианской — и одна неотделима от другой, и “старичок с Онеги-города”, и воскресшее, подобно Христу, Всемирное слово, Русь огненная соединяются в едином праздничном действе с Матерью-Землей, Любовью-невестой, Сыном-Волей — героями “Красной Пасхи”.

И внимают они песне олонецких скопцов, чьи слова вынесены в эпитаф “Красному коню”:

*Что вы верные, избранные!
Я дождусь той поры-времечка:
Рознить буду всяко семечко.
Я от чистых не укроюся,
Над царями царь откроюся, —
Завладею я престолами
И короною с державою...
Все цари-власти мне полонятся,
Енералы все изгонятся.*

Понятно, что происходящее нововерный батюшка воспринимает, как кощунство. Но слушают Николая вытегорские коммунисты и беспартийные, и солидарны с ним, что коммунизму, как новому царству Христову, “не будет конца”, и почитают память “великого учителя и друга Карла Маркса”.

Все происходящее пронизано словом Христовым, каждый из присутствующих обяян подлинно религиозным вдохновением — и Маркс здесь не помеха, но союзник в религиозном действе — словно вопреки памятным утверждениям Сергея Булгакова 1906 года, который писал в работе “Карл Маркс как религиозный тип”:

“Хотя Маркс был нечувствителен к религиозной проблеме, но это вовсе еще не делает его равнодушным к факту религиозности и существованию религии. Напротив, внутренняя чуждость, как это часто бывает, вызывает не индифферентизм, но прямую враждебность к этому чуждому и непонятому миру, и таково было именно отношение Маркса к религии. Маркс относился к религии, в особенности же к теизму и христианству, с ожесточенной враждебностью, как боевой и воинствующий атеист, стремящийся освободить, излечить людей от религиозного безумия, от духовного рабства... Маркс борется с Богом религии и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии... Социалистическая деятельность Маркса, как одного из вождей движения, направленного к защите обездоленных в капиталистическом обществе и к преобразованию общественного строя на началах справедливости, равенства и свободы, по объективным своим целям, казалось бы, должна быть признана работой для созидания Царствия Божия. Но то обстоятельство, что он хотел сделать это движение средством для разрушения святыни в человеке и поставления на место ее самого себя и этой целью руководился в своей деятельности, с религиозной точки зрения должно получить отрицательную оценку; здесь мы имеем именно тот тонкий и опасный соблазн, когда добро и зло различаются не снаружи, а изнутри. Что здесь перевешивает — плюс или минус, мы узнаем это только тогда, когда подведен будет и наш собственный баланс, а сами должны оставить вопрос открытым...”

Для самого Сергея Булгакова баланс был подведен и вопрос закрыт после октября 1917-го.

В самой же революции сталкивались силы, движимые исключительно “религиозными типами”. В самой бешеной борьбе с православием была настоящая религиозная страсть.

Спрашивается, зачем бороться с Богом, если, как было объявлено, его нет? Зачем бороться с пустотой?

Знали, что не с пустотой борются. Знали, что верховный авторитет, евангельское Слово обесценивает многое и многое, внедряемое в жизнь новой властью.

И невозможно не вспомнить, что огромное количество местечковых евреев, принесенное революционным потоком в наркоматы, в ЧК, в уездные комитеты, в газеты, в банковскую систему — воспитывалось в духе лютой ненависти к Христу, которого называли “мамзер” — “незаконнорожденный”. Им с детства внушали, что кресты и иконы — это “нечисть”. Более того — русские люди (“гой”) в их представлении не считались людьми, опять же квалифицировались, как “нечисть” и “бездушный скот”... Это отношение проявилось мгновенно и столь явственно, что вызвало соответствующую реакцию. В петроградской газете “Молва” в июне 1918 года описан митинг голодных людей на Знаменской площади:

“— Помитинговать штоль немножко?..

Против всех протестуют, но на “жидах” все соглашаются, как один. И не только свободные граждане, но и красногвардейцы охотно поддакивают им.

— Конечно, жида много портят. Они социализму вредят, потому ведь в банках — жида, в газетах — жида... А при настоящей коммуне — перво-наперво, конечно, всех жидов потопить...”

Конечно, проходили тогда в Петрограде и другие митинги и собрания. В частности, лекция магистра богословия, преподавателя Петроградской духовной семинарии иеромонаха Николая Ярушевича с характерным названием: “Святая Русь” (Думы о прошлом, перспективы будущего). В. Княжнин читал публичную лекцию “Патриарх Гермоген и его подвиг”. Будущий живоцерковник священник Александр Введенский произносил на диспуте “С Богом или без Бога” речь “Современные анархисты и социалисты, как богоборцы”, а в концертном зале Тенишевского училища протоиерей И. Егоров и В. Лебедев читали соответственно лекции: “Христос — основной закон жизни” и “Закон и Бог”.

Многое видевший в те дни своими глазами и много слышавший своими ушами Николай Бердяев, изо всех сил стремившийся сохранить “толерантность”, столь необходимую “русскому интеллигенту”, в частности, в своей работе “Христианство и антисемитизм” — все же вынужден был констатировать очевидное и неумолимое: “Ненависть к евреям расовая, бытовая, политическая недопустима для христианина, но возможна религиозная ненависть к антихристовой идее еврейства, и в глубочайшем смысле этого слова — она неизбежна... Русский народ должен дать приют избранному народу Божьему, и русский же народ должен всей силой своего духа противиться антихристианской идее еврейства, еврейскому отвержению Мессии Распятого и еврейскому ожиданию иного мессии”.

Вот только как сам Бердяев предполагал совместить одно с другим — отсутствие “политической ненависти” с “ненавистью религиозной”?.. Одна органично срослась с другой — и выплеснулась с обеих сторон, но с наиболее зверской жестокостью — именно с еврейской стороны.

Хотелось бы сказать — “а там, во глубине России, там — вековая тишина”... Но эпоха “вековой тишины” во глубине России и в каком бы то ни было ее углу кончилась. Страсти кипели и там, где русские коммунисты венчали Христа с Марксом и древними языческими стихиями. Никто этого, естественно, не формулировал, но подспудно чувствовали все — выбор стоит кардинальный. Какой будет Россия, перефразируя Владимира Соловьева — “Востоком Маркса или Христа?” — ибо их несовместность, явственно обозначенная Сергеем Булгаковым, изначально понимали вожди и идеологи, но ее же какое-то время упорно не желала понимать та самая “масса”, которая, по идее, и была движущей силой революции.

А не желала понимать именно потому, что начала справедливости, равенства и свободы были неотделимы для нее от святыни в человеке. И именно это органическое единство в русском существе составляло предмет звериной ненависти многих представителей новой власти, начинавшей помимо переустройства всей жизни страны и народа — свой знаменитый “штурм неба”.

Социальная и классовая война естественно переходила в религиозную — самую жестокую из всех войн. На э т о й войне не берут пленных и не оставляют живыми раненых. Начиналась религиозная война власти и ее ландскнехтов с частью народа, не желавшей сокрушать свое тысячелетнее мироздание.

30 июля 1917 года отец Павел Флоренский писал: “Все то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси... Я уверен, что худшее еще **впереди**, а не позади, что кризис еще **не** миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века”.

Это же мог бы через год повторить и Клюев, приехавший в Петроград уже в качестве почетного председателя Вытегорской организации РКП(б). Повторить, видя, как одна мерзость сменяет другую, как одна волна кризиса накачивается на предыдущую — с мыслью, кто худшее еще впереди.

Он приехал с материалами двухтомника “Песнослов”, по поводу издания которого в течение года вел переписку с хорошо ему известным издателем М. Аверьяновым, обговаривая и условия издания, и гонорар, и оформление. В конце концов, заручившись гарантией Наркомпроса, который изъявил желание издать двухтомник “в целях широкого распространения в народе”, объявил Аверьянову, что договор с ним считает недействительным. Одновременно готовит к изданию сборник избранных революционных стихотворений — “Медный кит”.

“Только во сто лет раз слетает с Громоваго дерева огнекрылая Естрафиль-птица, чтобы пропеть-провещать крещеному люду Судьбу-Гарпун.

И лишь в сороковую, неугасимую, нерпячью зарю расцветает в грозных соловецких дебрях Святогорова палица — чудодейная Лом-трава, сокрушающая стены и железные засовы. Но еще реже, еще потайнее проносится над миром пурговый звон народного песенного слова, — подспудного мужицкого стиха. Вам, люди, несу я этот звон — отплески Медного Кита, на котором, по древней лопарской сказке, стоит Всемирная Песня”.

Не знаю — понял ли хоть кто-нибудь из издательства при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов, где “Медный кит” выходил в свет, хоть что-нибудь в этом клюевском “присловье” к книге, где словно одновременно вещает Судьбу-Гарпун Естрафиль из “Голубиной книги”, растет Лом-трава и слышен звон подспудного мужицкого стиха... И все вместе — как тревожное пророчество...

Он встречается с Блоком, ночует у него на квартире, ведет с ним долгие разговоры об издании своих книг, о происходящем вокруг... Они с Блоком хорошо понимали друг друга, и многое из написанного старшим собратом в статьях весны-лета 1918-го могло быть созвучно мыслям Клюева.

“Учение Христа, установившего равенство людей, выродилось в христианское учение, которое потушило религиозный огонь и вошло в соглашение с лицемерной цивилизацией, сумевшей обмануть и приручить художника и обратиться искусство на служение правящим классам, лишив его силы и свободы.

Несмотря на это, истинное искусство существовало все две тысячи лет и существует, проявляясь то здесь, то там криком радости или боли вырвавшегося из оков свободного творца. Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества...”

“... Считаю своим долгом ответить на вопрос — не волнующий, а сжигающий меня — что делать сейчас художнику.

Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, быть может, в удесятенном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия — умерли. Они могут еще вернуться и существовать, но они *утратили бытие*, и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении (прямая переключка с клюевским “нищим колодовым гробом с останками Руси великой”. — **С. К.**); присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас...

Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизовать труп. Для того, чтобы этот гнев не вырождался в злобу (злоба — великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна. Одно из лучших средств к этому — не забывать о *социальном неравенстве*, не унижая великого содержания этих двух малых слов ни “гуманизмом”, ни сентиментами, ни политической экономией, ни публицистикой. Знание о социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное.

Художнику надлежит готовиться встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними”.

И одновременно с этим — в записных книжках:

“Я одичал и не чувствую политики окончательно”.

“Как безвыходно все. Бросить бы все, продать, уехать далеко — на солнце и жить совершенно иначе”.

...Гражданская война полыхает по всей России. Англичане и французы хозяйничают в Мурманске, японцы во Владивостоке. Белыми взяты Ставрополь, Николаевск, Екатеринбург, Екатеринодар, Казань. В Архангельске было создано Временное правительство Северной области во главе с масоном Н. В. Чайковским... Этому самому Чайковскому, уже позднее пребывавшему в эмиграции в Париже, напишет письмо его бывший министр внутренних дел: “Вспомните, Николай Васильевич, хотя бы наш север, Архангельск, где мы строили власть, где мы правили... Вспомните тюрьму на острове Мудьюг в Белом море, основанную союзниками, где содержались “военнопленные”, т. е. все, кто подозревался союзной властью в сочувствии большевикам. В этой тюрьме начальство — комендант и его помощник — были офицеры французского командования, что там, оказывается, творилось? 30% смертей арестованных за пять месяцев от цинги и тифа, держали арестованных впроголодь, избиения, холодный карцер в погребе и мерзлой земле...” На территориях, что под контролем красных, соответственно не прекращаются расстрелы. В обиход входят выражения “пустить в расход”, “разменять”, “играть на гитаре”, “запечатать”, “отправить в Могилевскую область”, “отправить в штаб к Духонину” и т. д. и т. п.

Еще 20 мая Яков Свердлов выступил на пленарном заседании ВЦИК с совершенно людоедским докладом “О задачах Советов в деревне”: “Мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримо враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городе, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне делаем то, что смогли сделать для городов...”

Сельские Советы, как “контрреволюционные”, большевиков не устраивали. Начали создаваться комитеты бедноты, куда сплошь и рядом набиралось всякое отребье, помимо конфискации продукции занимавшееся погромами храмов. За недосдачу крестьянами хлеба по продразверстке уже полагается 10 лет тюремного заключения. Одно за другим вспыхивают крестьянские восстания. Еще до официального объявления “красного террора” расстреливаются, часто после жестоких мучений, священники, диаконы, пресвитеры, иеромонахи, иноки, послушники...

А после убийства Урицкого (который отменно проявил себя в Петрограде в качестве палача — во время его всевластия в Питерской ЧК было уничтожено около 5 тысяч человек) и покушения на Ленина — ВЦИК РСФСР под председательством Якова Свердлова (который и был фактическим организатором этого покушения) принял резолюцию: “...на белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов”.

Было вынесено и специальное постановление ВЦИК по “красному террору” под председательством того же Свердлова, который, если судить по стилю этого документа, совершенно ошалел от предвкушения большой крови: “...Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районам право самостоятельно расстреливать... Устроить в районах маленькие концентраци-

онные лагеря... Принять меры, чтобы трупы не попали в нежелательные руки. Ответственным товарищам ВЧК и районных ЧК присутствовать при крупных расстрелах (замечательно это “повязывание кровью”. — С. К.). Поручить всем районным ЧК к следующему заседанию доставить проект решения к вопросу о трупах”... Обращает на себя внимание и пункт о “концентрационных лагерях”. Впервые этот опыт был применен во время гражданской войны в Американских Соединенных Штатах — именно так поступали победители северяне с побежденными южанами. Потом его повторили англичане в Южной Африке во время англо-бурской войны. Настал черед Советской России...

“Красная газета” от 31 августа. Та самая газета, утробный рев которой поэтически транслировал Клюев в двучастном цикле “Из “Красной газеты”. “За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотомщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов — пусть польется кровь буржуазии и ее слуг — больше крови!” Начался, как выразился сам же чекист Яков Петерс, “истерический терпор”.

Одновременно с “истерическим террором” началось неудержимое захваливание Ленина в газетах и на митингах. Слова “великий”, “гениальный”, “дорогой учитель” лились сплошным потоком. Инициировал эту кампанию опять же Свердлов, Ленин при жизни стал превращаться в сказочный миф.

Но то, как откликнулся Клюев на ранение вождя, не имеет ни прецедентов в русской поэзии, ни последующего продолжения. Он создает совершенно фантастический цикл стихов — как по замыслу, так и по воплощению.

Более еретических стихотворений (не богоборческих, не антицерковных — именно еретических) не знала русская поэзия. Здесь впервые возникает мотив физиологического соития Божественного с земным — словно нет разницы между Богом-отцом и античным божеством, наслаждающемся земным блаженством.

*Братья, сегодня наша малиновая свадьба —
Брак с Землей и с орлиной Волей!
Костоедой обглоданы церковь и усадьба,
Но ядрено и здорово мужицкое поле.*

*Не жалейте же семени для плода мирского,
Разнежьте ядра и случкой китовьей
Порадуйте Бога — старого рыболова,
Чтоб закинул он удю в кипяток нашей крови!*

*Сладко Божью наживку чуют в заводах тела,
У крестца, под сосцами, в палящей мошонке:
Чаял Ветхий, что выловит Кострому да иконки,
Ан леса, как наяды, бурунами запела.*

Физиологический акт тождествен вселенской рыболовле, где “уды” фонетически и символически тождественны “уде”. Плод сего сакрального действия — Лев, тождественный Христу и Ленину (“Буйно-радостный львенок народов и стран”). Вся вселенная преображается с его приходом, вплоть до изменения магнитных полюсов Земли.

*Оглянитесь, не небо над нами, а грива,
Ядра львиные — солнце с луной!..
Восшумит баобабом карельская нива,
И взрастет тамарис над капустной грядой.*

“Пламенеющий ленинский рай” воспоют, по мысли поэта, и железный Запад, и сермяжный Восток, а пуля, пробившая тело вождя, — что удар римского копья в ребро распятому Христу.

*Ленин, лев, лунный лен, лучезарье:
Буква “Люди”, как сад, как очаг в декабре..
Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье,
Но Христово лишь в язве, в пробитом ребре.*

*Есть в истории рана всех слав величавей, —
Миллионами губ зацелованный плат...
Это было в Москве, в человеческой дубраве,
Где идей буреломы и слов листопад.*

Само слово “Ленин” становится сакральным в изменившейся вселенной, оно слышно в голосе природных стихий, в шепоте земли и пении океана, оно оплодотворяет все живое и порождает новое Слово, подобное Слову, порожденному почти тысячелетие назад.

*Жизни ухо подслушало “Люди” и “Енин”.
В этот миг я сохатую матку доил, —
Вижу кровь в молоке, и подойник мой пенен...
Так рождается Слово — биение жил.*

Слово Христа и Слово Ленина рождены той же силой, что некогда породила вешее Слово — о чем Клюев, и не только он, мог прочесть в “Поэтическом воззрении славян на природу” у А. Афанасьева: “В дуновении ветров признавали язычники дыхание небесного владыки, в... шуме падающего дождя слышали его дивную песню, а в громах — его торжественные глаголы; выступая в весенних грозах, он... будил ее (природу. — С. К.) от зимней смерти своей могучею песнею, вновь творил ее своим вещим словом. Слово божье=гром есть слово творческое”.

Ленинское слово воплотилось в жизнь — в “октябрь — месяц просини, листопада”, в месяц появления Николая Клюева на свет — и это временное наложение также исполнено для поэта сакрального смысла.

Символ Льва сопровождает весь “Ленинский цикл”, утверждая Ленина в его высшем предназначении, ничего общего не имеющем с “реальной политикой”.

“Лев грядет... От мамонтовых залежей Тянет жвачкой, молочным теплом...” “К пришествию Льва василек и коринка Осыпали цвет — луговую постель...” “К кронштадтскому молу причалили струги, — то Разин бурунный с персидской красой...” Отмерили год циферблатные круги, как Лев обручился с родимой землей”...

И подобно тому, как на стенах русских изб лев и единорог вырезались друг напротив друга, изготовившиеся и для схватки, и для супружества, Клюев во втором томе “Песнослава” рядом с циклами “Сердце единорога”, объединяющего “Избяные песни” и “Белую повесть”, и “Долина единорога”, включающего в себя предреволюционные стихи, многие из которых насыщены дьявольской символикой и напоены потусторонней энергетикой и которые не пропустила бы к печати ни одна духовная цензура (достаточно вспомнить “Полуденный бес, как тюлень на отмели, греет оплечья...” или дьявола, что станет “овцой послушной и простой” — по Оригену, утверждавшему прекращение вечных мук и прощение дьявола — и эти его утверждения были осуждены Пятым вселенским собором) — помещает цикл “Красный рык”, где “ленинский блок” занимает центральное место.

“Новому суровому слову” он несет свое подношение от лица и имени древней Руси, от сакрального животного и священного символа русских лесов.

*Я — посол от медведя
К пурпурно-горящему Льву, —
Малиновой китежской медью
Скупаю родную молву.*

.....
*Я — посол от медведя, он хочет любить,
Стать со львом песнозвучьем единым.*

Центральное место “ленинского цикла” принадлежит стихотворению “Багряного Льва предтечи...” Здесь слышится мерная поступь рока — а роковое начало несет в себе ожившая архаика, древняя непросветленная тьма, вышедшая из тысячелетних глубин, где томилась она подобно свергнутому и заточенным в Тартаре Зевсом титанам из Гесиодовой “Теогонии”.

*Багряного Льва предтечи
Слух-упырь и ворон-молва.
Есть Слово — змея по плечи
И схимника голова.*

*В поддевке синей пурговой,
В испепеляющих сапогах,
Перед троном плясало Слово
На гибель и черный страх.*

Это не Распутин. Это сам Ключев — вестник прихода древних подспудных сил, размыкающих земную кору, в земном воплощении орудующих, словно “зеленая банда” или орда громил в Царскосельском дворце, — и спасения от этой силы нет и быть не может.

*Царскосельские помнят липы
Окаянный хохот пурги...
Стоголовые Дарьи, Архипы
Молились Авось и Низги.*

*Авось и Низги — наши боги
С отмычкой, с кривым ножом, —
И въехали гробные дроги
В мертвый романовский дом.*

Известие о расстреле императора Ключев прочитал еще в июле в вытегорской газете.

“Расстрел Николая Романова

18 июля состоялось 1-е заседание президиума Центрального Исполнительного Комитета 5-го созыва. Тов. Свердлов оглашает только что полученное по прямому проводу сообщение от 8-го Уральского Совета о расстреле бывшего царя Николая Романова.

В последние дни столице Красного Урала Екатеринбург seriously угрожала опасность приближения чехо-словацких банд. В то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевших целью вырвать из рук Советской власти коронованного палача.

Ввиду этого президиум Уральского областного Совета постановил: расстрелять Николая Романова, что и приведено в исполнение 16-го июля.

Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место”.

И здесь же, на той же газетной странице — еще одно сообщение.

“Похищение бывших князей

Алапаевский исполнительный комитет сообщает о нападении утром 18 июля неизвестной банды на помещение, где содержались под стражей бывшие великие князья: Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михайлович и Палей.

Несмотря на сопротивление стражи, князья были похищены. Есть жертвы с обеих сторон. Поиски ведутся”.

Ложь на лжи — и волне объяснимая. Большевики, естественно, не пожелали обнародовать, что антимонархисты, за знаменами которых было начертано “Вся власть Учредительному собранию!”, наступавшие на Урал, ненавидели императора не меньше “ленинцев” и “свердловцев” и “вырвать из рук Советской власти” Николая II они могли только с целью самим прикончить его. Конечно, никто, кроме посвященных, не мог знать, что Свердлов через располагавшуюся в Вологде американскую миссию отправил телеграфное донесение Якову Шиффу в Америку с донесением о том, что царь может быть захвачен белогвардейцами или немцами, и получил в ответ приказ “ликвидировать всю семью”. Но самое главное в том, что от народа необходимо было скрыть еще одно преступление: убийство императрицы, малолетнего цесаревича и четырех царских дочерей. Вот поэтому “жена и сын Романова” были отправлены “в надежное место” (неназываемое), о дочерях не упоминалось вообще, а убитые и сброшенные в Алапаевскую шахту князья объявлялись “похищенными”. В противном случае трудно было квалифицировать свершившееся иначе как безжалостную бойню.

Впрочем, большевики сами своим умолчанием, длившимся 8 лет, поспособствовали возникновению многочисленных самозванцев и самозванок, про-должающих отравлять пространство памяти об убиенных вплоть до наших дней.

И, конечно, никто не должен был знать, что неизвестный, невесть откуда привезенный раввин после таинственного ритуала на месте злодеяния оставил на стене дома Ипатьева две каббалистические надписи: “В эту ночь Белшацар (Валтасар. — С. К.) был убит своими слугами” и — “Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы”.

А через 3 дня, в свежем газетном номере, где Клюев печатал с посвящением товарищу М. Мехнецову стихотворное проклятие “черным белогвардейцам”, “Романовскому дому” и “чумазому Распутину” и пел хвалу “пулемету, несытому кровью” — была опубликована новая заметка “Романов перед расстрелом”, призванная, очевидно, внушить еще большее отвращение читателей к Царской Семье.

“Окружавшие Николая в Тобольске попы, ханжи и обломки когда-то блестящей камарильи были от него далеко. Близкий друг его по Тобольску еп. Гермоген рыл окопы на чехословацком фронте.

Сам Николай в последние недели своей позорной жизни чувствовал себя совсем неплохо... Читал “Красный дьявол”, “Уральский рабочий”... Пополнел... Покраснел...

Алиса нервничала, фыркала, не переваривала тюремного режима...

Неусыпно охранял коронованных негодяев особый караул под командой рабочих, подступы к их последнему дворцу — отборный отряд рабочей красной армии...”

...Пройдет немногим более 10 лет, многое станет известно об этом ритуальном убийстве, многое переживет, перечувствует и переосмыслит сам Николай, с жутким и трагическим восторгом живописавший “гробные дроги” — на которых, ни больше ни меньше — “по-козьи рогат возница, на запятках Предсмертный Час. Это геенская страница, Мужичкого Слова пляс!” (вот во что превратилось тогда его “спасение демонов”!), — и в “Песни о великой матери” он найдет совсем иной тон и совсем иные слова для Николая II, описанного в преддверии мученической кончины.

*...И увидал я государя.
Он тихо шел окрай пруда.
Казалось, черная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он все же выглядел царем.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковер, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирины, ракиты, —
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя.*

.....
*Свершилось давнее. Семужный,
Поречный, хвойный, избяной,
Я повстречался вновь с судьбой
России — матери матерой,
И слезы застилали взоры, —
Дождем душистый сенокос,
Душа же роцею берез
Шумела в поисках луча,
Бездомной иволгой крича,
Но между роцей и царем
Лежал багровый липкий ком!*

...Когда в 1982 году я сидел в мастерской у живописца Анатолия Яра-Кравченко и расспрашивал его о Клюеве, маститый художник, автор портретов членов Политбюро ЦК КПСС, украшавших в праздничные дни фронтоны московских зданий, пряча таинственную улыбку, взял в руки дерматиновую папку и открыл ее с тихими словами: “Я Вам сейчас прочту”. Он начал читать вслух именно эти строки из поэмы, считавшейся навсегда утерянной, и я, приросший к стулу, только и смог выдавить из себя: “Можно я помогу Вам разобрать Ваш архив?” Анатолий Никифорович хитро усмехнулся и, закрывая папку, произнес: “Потом как-нибудь, потом...” Это “потом”, естественно, так и не настало, а целиком всю поэму, извлеченную из архива Комитета государственной безопасности, я прочел уже в роковые осенние дни 1991 года на журнальных страницах.

* * *

Цикл Клюева “Ленин” произвел ошеломляющее впечатление и на читателей и, особенно, на поэтов. Рискну предположить, что многие, писавшие потом об Ильиче, держали в подкорке величественные и жуткие клюевские строки, воплощающие перемену во всей Вселенной на сакральном уровне. Подспудно каждый из них стремился снизить тон разговора о вожде, “очеловечить” его в противовес клюевскому словотворчеству. Это касается и Есенина, который в поэме “Гуляй-поле” представил Ленина, как неразрешимую человеческую загадку (“Застенчивый, простой и милый? он вроде Сфинкса предо мной. Я не пойму, какою силой сумел потрясть он шар земной? Но он потряс...”), а в “Анне Снегиной” сказал о вожде, как о персонифицированном воплощении крестьянской Руси (“Скажи, кто такое Ленин? — Я тихо ответил: “Он — вы”). И, разумеется, это впрямую касается Маяковского, ненавистника всех “мужиковствующих”, который, не называя Клюева, подспудно отталкивался от его образа “Ленина-Льва” в поэме “Владимир Ильич Ленин”:

*Если б
был он царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.*

*Я б
нашел
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
д о л о й!*

...С Маяковским Клюев встречался еще до революции. Как-то раз в доме Федора Шаляпина, обожавшего клюевские стихи, они сидели за хозяйским столом. Маяковский отчаянно пытался перетянуть одеяло на себя, “я... я... я...” не сходило с его губ. Клюев сидел, молчал, смотрел исподлобья, а по-

том тихонько, напевно произнес: “Иде-ет железо на русскую березку”... Можно себе только представить, с каким чувством ужаса и отчаяния за погибающую человеческую душу читал Клюев маяковское “Несколько слов обо мне самом”, где “полночь промокшими пальцами щупала меня и забитый забор, и с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор”... Эту сцену орального секса в тени собора, от которой “Христос из иконы бежал, хитона обветренный край целовала, плача, слякоть”, и где, воззрившись на пустой киот? поэт в тупом отчаянии молит: “Время! Хоть ты, хромой богомаз, лик маленькой мой в божницу уродца века...” — Клюев хорошо запомнил и в вихре революционного погрома воскрешал своим словом древнюю архаику, как надежную оборону против железа, которое, как он ясно видел? продолжает идти “на русскую березку” с удесятеренной силой. Отсюда и перекличка с Маяковским в “Медном ките”, где “Всепетая Матерь сбежала с иконы, чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать...”, и жалостливо-покровительственная интонация в ответе Маяковскому на громовые “р-р-революционные” вопли — последнего, в стихотворении 1919 года.

*Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне — журавинный перелет и кот на лежанке.
Брат мой несчастный, будь гостеприимным:
За окном лесные сумерки, совиные зарянки!*

*Тебе ненавистна моя рубаха,
Распутинские сапоги с набором, —
В них жаворонки и грусть монаха
О белых птицах над морским простором.*

.....

*Простой, как мычание, и облаком в штанах казинетовых
Не станет Россия — так вещает Изба.
От мерез осетровых и кетовых —
Всплески рифм и стихов ворожба.*

*Песнетворцу ль радеть о краях подъемных,
Прикармливать воронов — стоны молота?
Только в думах поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багряное золото!*

Обостренное чувство, что из революции — его, клюевской революции — изымается то житнетворческое, самое главное, ради чего он, народный радетель и заступник, “посвященный от народа”, исторгал из своей лиры “музыку революции” с ее нотами злости, ненависти, ликования, проклятий, радости, победного клика, стона убиваемых — все более рождало в нем неприятие происходящего — и писались открытые инвективы “железному времени”, где он не стеснялся уже и отрицания своих собственных первоначальных революционных выкриков.

*Не хочу Коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей!
В стихотворной тягостной вязанке
Думный хворост буреломных дней.*

*Не свалить и в “Красную газету”
Слов щепу, опилки запятых.
Ненавистен мудрому поэту
Подворотный твякующий стих.*

.....

*Господи! Мы босы и наги,
На руках с неповинною кровью...
Шелестят леса из бумаги,
“Красная газета” мычит по-коровьи:*

*“Мму-у-у! Чернильны мои удои,
Жирна пенка — построчная короста”...
По-казенному, в чинном покое,
Дервенеют кресты погоста.*

...Эта “лежанка” долго еще будет вспоминаться Клюеву как при жизни, так и после его гибели. Над ней будут злорадно хохотать молодые неоперившиеся дикари-стихотворцы из Пролеткульта, в обществе которых окажется Николай в эту трагическую осень в Петрограде, в редакции журнала “Грядущее”, где он по соседству с “железными” пролеткультовскими мальчиками будет печатать свои “березовые” стихи.

(Продолжение следует)